

Сегодня 23 декабря день рождения моего отца —... - Лев Звенигородский | Facebook

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=3819839294725755&id=100000991654803&sfnsn=scwspmo](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3819839294725755&id=100000991654803&sfnsn=scwspmo)

24 декабря 2020, 00:04

Дополнительные настройки

Сегодня 23 декабря день рождения моего отца — Ефима Давыдовича Звенигородского. Ему бы исполнилось 98 лет. Но, увы, уже 26 лет его нет на этом свете. Он умер в 72 году. Столько сегодня и мне.

Я очень любил и уважал его. И вот сегодня решил разместить здесь рассказ о нем. Почему-то понял, что мне это надо.

Кстати, сегодня же день рождения и моего внука — Марика. Ему двадцать. Так сказать продолжатель фамилии...

Отец

Папа для меня был и остается человеком, по которому я сверял и до сих пор сверяю свои поступки. Был он человеком прямым и честным. Может, в общении немного простоватый, но я не помню, чтобы он кривил душой. За свою прямооту и свое стремление во всем добиться справедливости не раз и не два за свою жизнь был «бит», не получил каких-то наград и должностей. Но это его нимало не смущало.

Я его помню с самых малых моих лет. Он был фронтовиком, недавно вернувшимся с войны и об этом нам напоминала небольшая ранка на колене — след от пули и широкий кожаный ремень, висевший за дверью в кладовке. Когда я проказничал (а кто не проказничал в детстве?!), он шутливо вопрошал: «Женя, а где мой армейский ремень?». Мама, подыгрывая ему, вторила: «А ты разве забыл? Он в кладовке за дверью!».

Конечно никаким ремнем он меня никогда не бил. А вот рукой хлопнуть по попе мог. И мне доставалось от него довольно часто, потому что я, бывало, хитрил, не все рассказывая родителям о происшествиях в детском саду, а потом и в школе.

Не скажу, чтобы я был таким уж хулиганистым мальчишкой, но все же послушным паинькой не был, и иногда мне от него доставалось. Бывало и больно. Но в основном по делу, хотя были случаи, когда наказывал он меня сгоряча, не разобравшись. Но вот обиды на него не было никогда.

Наша любовь была взаимной. С самого раннего детства он брал меня с собой всюду: и когда играл в волейбольной команде «Спартак» (отсюда моя преданность спартаковцам во всех видах спорта), и когда ходил на футбол, и в баню по субботам, где со своими знакомыми после парной пил пиво, а мне покупал ситро, и даже на встречи со своими друзьями.

Я почему-то помню, как, уже работая в областном финансовом отделе, куда поступил после армии, он заочно заканчивал Благовещенский финансовый техникум. По выходным, а порой и по вечерам он садился за стол в большой комнате и готовился к экзаменам, что-

то писал, штудировал учебники. А когда вдруг гас свет, сидел за столом с керосиновой лампой, макая перо в чернильницу.

И сейчас передо мной этот образ — полутемная комната с причудливыми тенями от керосиновой настольной лампы, папа, со свисающими на лоб черными волосами, сидящий за столом, перед ним куча книг, большая общая тетрадь и коричневая, пластмассовая, как та, что я потом носил в школу — чернильница.

Мне запрещено разговаривать с папой, потому что он занят. И из-за двери я подглядываю за ним. Он замечает меня, зовет к себе и сажает на колени. Я смотрю в тетрадку, вижу его красивый — витиеватый, с какими-то загогулинами почерк, какие-то таблицы. Видимо, «потеряв» меня, мама заглядывает в комнату.

«Муня, он же тебе мешает!», - говорит она, называя его домашним именем.

«Нет, он сидит тихо!», - отвечает папа. И я благодарно глажу его по щетинистой щеке, прижимаюсь близко-близко и чувствую его чуть прерывистое от курения дыхание...

А утром в воскресенье, когда ни он, ни мама на работу не спешили, мы с братом приходили в родительскую кровать и нежились вместе. Правда, мама вставала и готовила воскресный завтрак, а мы с папой еще полчаса обнимались и разговаривали о жизни. Помню эти моменты, как самые счастливые в моей жизни. Мне всегда хотелось потрогать ямку на его левом колене — след от ранения, который никак не отразился на ходьбе, но всегда присутствовал в понимании, что папа — воевал.

Отвлекаясь, замечу, что и мои ребяташки - Дима и Саша - любили в воскресные дни приходиться утром к нам в постель. Такая традиция существовала долго. И я все боялся, что настанет такой день, когда мы не дождемся в постели своих ребят, потому что у них будут дела поважнее, чем общение с родителями.

Как и следовало ожидать, такие времена наступили. Но в памяти моей эти моменты остались, такими же счастливыми, как и те, что я испытал в детстве, приходя к родителям в их постель...

Но продолжу о папе. Учился он в биробиджанской второй школе. Первые семь лет — на идише, на котором в то время говорили в Биробиджане практически все. Я уже идиша не знал, а свидетельством тому, что в тридцатые годы основным языком в Еврейской области был идиш, являлось для меня то, что некоторые соседи, совсем даже не евреи, говорили на идише довольно бегло.

Но к концу тридцатых годов преподавать на идише перестали, и последние три года в школе он учился уже на русском.

Так случилось, что в девятом классе он заболел воспалением легких. Поскольку в ту пору антибиотиков еще не было, лежал дома, постепенно умирая. Врачи посоветовали родителям, как только весной появится солнышко, выводить его на улицу. Так и делали: бабушка несла к крыльцу стул, а дед - легкого от худобы Ефима.

То ли солнце помогло, то ли молодой организм справился, то ли какие-то лекарства, которые кому-то прислали из-за границы, сделали свое дело, но постепенно дело пошло на поправку. Правда, учебный год пришлось повторить уже с другим классом. А закончил

школу в 1941-ом, как раз накануне войны. Так что никакого образования, кроме среднего, перед уходом на фронт у него не было.

Он не очень любил рассказывать о войне. На мои мальчишеские вопросы отвечал односложно, мол, что рассказывать, когда погибают люди. Даже уже будучи пожилым, он по возможности «отлынивал», когда по заданию Совета ветеранов надо было ходить в школы, встречаться с молодежью. И не потому, что был не очень хорошим оратором, а потому что считал, что никакой он не особенный, в те годы все были героями, поскольку освобождали свою страну, защищали от гибели свои семьи.

И все же иногда мне удавалось его разговорить, и он кое-что рассказывал о войне. Это не были «парадные» рассказы, коих ныне столько печатают разные издания. Это были некоторые ситуации, рассказанные просто, по бытовому, что ли...

Он со своей частью прошел от Сталинграда до Праги. Был связистом в артиллерийском полку, ранен, контужен, награжден медалью «За отвагу» и орденом «Славы» третьей степени, ему было объявлено 17 благодарностей Верховного Главнокомандующего.

В числе освобожденных городов — Могилев, Подольск, Курско-Белгородская дуга, Харьков, Яссы, Рымнику, Будапешт, Братислава. В сохранившихся в семье документах — еще десятки городов и форсированных рек, среди которых Прут, Днестр, Тисса... Был представлен еще к одному ордену «Славы», но тут война закончилась...

После окончания школы в 1941-ом попросился в училище красных командиров. Направили на учебу радистов в Ворошилов, ныне Уссурийск в Приморье. В сорок третьем отправили на фронт, в самое пекло - под Сталинград.

Биробиджан, где жила семья, в теплушках проезжали днем. Поезд остановился, и он попросил пробежавшего мимо мальчишку сбегать на работу к отцу, позвать его. Мальчишка убежал. Поезд тронулся, и, спешивший на встречу с сыном Давид Звенигородский, только и успел, что помахать ушанкой вслед уходящему поезду. Папа мне потом говорил, что он деда узнал издалека...

Как-то, посмотревшись фильмов о войне, коих в годы моего детства было немало, и где наши убивали немцев сотнями, я спросил его, а убивал ли он врагов. Я уже понимал, что нормальному человеку убивать людей непросто. И это для меня был не праздный вопрос.

Он ответил честно: «Когда идешь в атаку и стреляешь по врагам — особо думать не приходится. Стреляешь вперед, а попал или не попал — сам не знаешь, ты попал во врага, или кто-то бегущий рядом. Но ты хорошо понимаешь, что если не ты его застрелишь, то он тебя уж точно. Так что тут - кто быстрее... А так, чтобы я видел и понимал, что вот этого «фрица» я убил — такого не было».

Надо сказать, что к своим наградам, полученным на фронте, относился бережно. Видно было, что их он ценит и знает, что получил за дело. А вот к остальным, так сказать «юбилейным», орденам и медалям - с некоторым пренебрежением. Может быть, потому что с начала 60-х годов их вручали всем участникам войны.

А потом и вовсе не участникам, а так называемым ветеранам, большинство из которых пороха и не нюхало, и смертей близких друзей от пуль и снарядов не видело. Хотя все юбилейные медали и орден «Отечественной войны» II степени на его парадном пиджаке всегда были в полном порядке и, как он любил говорить - «по ранжиру и по жиру».

А награды были непростые. Медаль «За отвагу!» вручали только за настоящие подвиги, и в солдатской среде она была более уважаема, чем иные ордена. Да и орден «Славы» тоже был очень почитаемым в среде фронтовиков.

Свой орден он получил за то, что форсировал небольшую речку и вызвал огонь на себя. Плавать он до конца жизни так и не научился. А речушка, хотя и была небольшой, довольно глубокая и холодная.

«А что было делать?! - рассказывал он. - Приказ — есть приказ. Выполняй, и, если не получится, погибай. Нашел какое-то бревно, с ним и перебрался на другой берег. Самое главное было не замочить радиостанцию, надо было вызывать огонь на себя. Не утонул, не убили. Вот и герой!».

Рассказывал как однажды, в самом начале его участия в боевых действиях во время марша налетела немецкая авиация. Бомбили нещадно. Все, как учили, стали прятаться кто где может, в основном в придорожных кюветах и углублениях...

Когда самолеты ушли, шуткам не было конца - кто как мог, так и прятался... Один балагур очень смешно изображал, как прятался мой отец, при этом добавив, что понятно, ведь еврей, а потому трус, и не хочет умирать. Отец ответить на обиду не успел, снова налетели немцы. Он один остался сидеть на дороге, на самом виду.

«И больше никогда на войне я не прятался. Понял, что мне с моей национальностью этого делать не надо, - рассказал однажды он. - А тот «шутник» так в строй и не вернулся, погиб в кювете, так что «дать ему в морду» я не успел!».

Рассказывая, как брали Киев, он, посмеиваясь, говорил, что дважды по приказу «драпали» от немцев, оставляя позиции, а потом снова били их, и «драпали» уже немцы.

Во время одного такого панического отступления он в окопе оставил свою радиостанцию. Собрать ее не было времени, столь стремительно убегали. Когда на новых позициях командир поинтересовался, где станция, ответил, что оставил в окопе. «Ну смотри Ефим, не найдешь, под трибунал пойдешь за оставление врагу военного имущества», - угрожающе сказал офицер.

«И в следующее наступление первым делом к своей радиостанции побежал, собрал ее и готовился к отступлению во всеоружии, - весело рассказывал он. - Но отступить не пришлось, Киев взяли»...

Некоторые его рассказы героическими и вовсе не назовешь. Например, однажды пришлось с двумя товарищами ночевать в скирдах. Утром проснулись от голосов. Услышав немецкую речь, затихли, боясь шелохнуться. Поговорив о чем-то своем, немцы ушли, а они потом полдня догоняли отступившую ночью часть. Конечно, там уже решили, что они погибли. А когда увидели живыми, очень удивились. Может, и наказали бы за отставание от части, да было время наступлений, не до того было.

А вот еще один эпизод, эпизод грустный, но который давал представление, как там было — фронте. В Румынии, когда заняли какую-то деревню, их расселили по крестьянским домам. Хозяева оказались людьми приветливыми, пригласили бойцов за стол, налили своего домашнего вина, накормили. А потом и спать уложили. Отец лег и сразу же заснул. Была у него такая особенность - как выпьет, его ко сну тянет.

А тут кто-то из ребят приволок большую бутылку со спиртом. Ну и веселье снова продолжилось. «Ефим, вставай, смотри сколько спирта!», - звали его не раз. Но разоспавшийся уже отец не поднялся.

Утром проснулся от диких криков. Все, принимавшие участие в вечерней пьянке, орали не своими голосами — они ослепли. Двоих так и не добились — умерли. Спирт оказался метиловым...

Пришлось на фронте быть ему и переводчиком. Конечно, весьма условно, потому что хотя идишь и похож на немецкий, но некоторые слова и выражения отец не понимал. Когда пересекли границу и стали в огромном количестве брать в плен «языков», переводчиков на всех не хватало.

Вот тогда-то, случайно, когда командиры пытались понять какого-то пленного немца, папа пояснил, о чем тот говорит. Ну и пошло — как приводили «языка», звали Ефима. Правда, не всегда он оправдывал ожидания воинского начальства, потому что в деталях перевести о чем говорит противник, просто не мог.

...Однажды на Украине освободили деревню Звенигородку. Ну тут уж шуткам по поводу того, что он, наконец, приехал на родину, не было конца. А хозяйку приютившего их дома вообще ввели в шок.

Папа так рассказывал этот комичный эпизод: «Захожу я в дом, куда меня определили и где расположились наши бойцы, а один из наших и говорит хозяйке дома - «Вот бабка, смотри, ваш хозяин деревни вернулся!». «Да ну вас!», - пожилая женщина в ответ махнула рукой. А Иван, с которым мы от самого Сталинграда вместе, говорит: «А ты, Ефим, покажи-ка ей свой военный билет!». Я вытащил билет, ухмыляясь показываю...

И вдруг она упала передо мной на колени и стала поклоны отбивать и прощения просить, что не признала сына хозяина. Мне так стыдно стало, что мы над старой женщиной издеваемся. Бросился я ее поднимать, извиняться, объяснять, что фамилия у меня просто такая... Не поверила. Утром, когда мы уходили, еще не раз поклоны отбивала...».

Рассказывал он и о не очень приятных вещах, которые происходили уже под самый конец войны. Был в их части старший лейтенант, интендант. Пока все воевали, он по домам шастал, разный скарб выискивал. Где шкаф старинный утянет, где мотоцикл новый немецкий, где картины. А уж ковров и всякой одежды — и не перечесть. В общем, мародерством обыкновенным занимался.

И с рук ему сходило, потому что интендантам вроде как положено. Они старшим офицерам не один вагон вещей собирали. Ну и о себе не забывали. Как говорил папа, вагон вещей набрал. Да над всеми посмеивался: «Что же вы ничего не берете? Все дармовое, а дома в хозяйстве пригодится!».

Уже и война кончилась, все ждали отправки на родину. А он вагон вещей отправил домой, и на радостях напился «до потери пульса». В прямом смысле. Утром нашли его труп в канаве с пробитой головой...

С фронта папа привез две вещички, которые, видимо, были для него дороги — расшитый цветными нитками кисет для махорки и зажигалку, которую фронтовые умельцы смастерили из стреляной гильзы. Я их помню. Они долго хранились у него в какой-то коробочке, а потом, при переездах из одной квартиры в другую как-то исчезли...

День Победы он встретил в Праге. Готовились к параду. Как рассказывал сам: «Уже чистили сапоги, да бляхи на ремнях драили до блеска, а тут вдруг команда — на построение. А там сразу объявили, что снова в бой. Где-то под Прагой немцы отказались сдаваться, продолжали сопротивляться. И это на третий день после объявления Победы!».

Приказ — есть приказ. Тяжело было снова воевать, когда уже, казалось бы, до отправки домой были считанные дни. «Много народу там полегло, уже после Победы, - говорил он с горечью. - Я видел много смертей, погибали близкие друзья, но почему-то их — погибших уже после окончания войны - было особенно жаль».

К сожалению, таких эпизодов мне из него удалось вытянуть немного. О его достойном воинском пути свидетельствуют документы военной поры, которые сохранились в семейном архиве.

И еще один штрих из его военной биографии. В 1987 году ему в день рождения на работе подарили книгу о Георгии Константиновиче Жукове. Как раз тогда вышел альбом с фотографиями, посвященными известному полководцу. Папа принес его домой, и сразу же, не открывая, поставил на книжную полку.

На мой вопрос, почему он даже не заглянул в книгу, ответил, что плохо относится к великому полководцу.

«Знаешь, - сказал он. - Я его видел-то всего один раз, но после той встречи, не могу о нем даже слышать, не то, чтобы читать его воспоминания!».

И рассказал, что уже после войны их часть направили в Одесский военный округ. Дело было летом. Шли пешком в пыли. Жара была страшная. Конечно, строй держать и шагать в ногу вчерашние фронтовики не то, чтобы не хотели, а и просто не могли. Вода, которую утром набрали во фляжки, закончилась, а новую никто не догадался подвезти.

Вдруг откуда-то с тыла, обогнав тянувшихся по дороге солдат, выскочил американский джип. Он обогнул неровный строй, и из него бодро выскочил генерал. В нем все узнали Жукова.

Он подозвал к себе командира батальона, поставил его по стойке «смирно», и схватив за горло, издевательски спросил: «Это что за строй! Почему не застегнуты воротнички?». И, сорвав с комбата погоны, отстегал его при всем строе нагайкой. Затем, быстро вскочив в машину, уехал.

«Мы все стояли, как оплеванные, - рассказывал папа. - Нам было стыдно за Жукова, было искренне жалко комбата, который вместе с нами прошел с боями тысячи километров. Он был немолодым уже человеком, мудрым командиром, который просто так людей на пушечное мясо никогда не отправлял. И его очень любили. Так что для меня Жуков вот таким в памяти и остался. Навсегда».

Сразу после войны отец повторно сдал экзамены за десятый класс, и поступил в финансовый техникум, в котором по неведомым перипетиям судьбы в то же самое время учился и отец моей жены Гали. Но тогда Ефим и Петр друг с другом знакомы не были...

Иногда у нас собирались его друзья, которые тоже учились в техникуме. Всех, конечно, по малости лет не помню, но среди тех, кто приходил к нам в то время, были Лев Юфа, Израиль Вульфсон, Кушнир, кто-то еще...

Как-то перед экзаменом, который проводился в Биробиджане собралось у нас человек десять — тогдашних студентов-фронтовиков. Некоторые были с офицерскими сумками-планшетами, в которых лежали учебники. Они, как я понимаю сегодня, просто повторяли какие-то вопросы из экзаменационных билетов, громко смеялись и пили водку, которую кто-то принес с собой в чекушке — маленькой 250 миллилитровой бутылочке.

Стульев на всех не хватило и кое-кто сидел на столе, кто-то на узком подоконнике, кто-то на кровати. Эта картина у меня до сих пор перед глазами. Никого из них нет уже в живых... О чем шел разговор, я, конечно, понять не мог.

Папа умел дружить, и в любых обстоятельствах был верен тем, с кем сводила его судьба. Годы были непростые, и когда все отворачивались от попавших в немилость его друзей, он был среди немногих, кто дружбу не предавал. Вместе с мамой навещали они опальные семьи, ездили в места не столь отдаленные на свидания.

Вообще-то он был азартным человеком. В молодости сам играл в волейбол, искренне и страстно болел за биробиджанские футбольные команды, когда играл в карты с моей первой учительницей — нашей соседкой Розой Моисеевной Баренгольц, а играли они исключительно в «Жокер», переживал, когда проигрывал. Еще любил он вечером с соседями по дому номер 13 по улице Пушкина поиграть в домино.

Возвращаясь с работы, он «столбил» очередь, и, быстро поужинав, спускался во двор, где вместе с напарником «забивали козла». Публика была в той компании разная — от столяра с первого этажа до заведующего отделом исполкома. Но, как я уже говорил, он умел находить общий язык со всеми.

Один из наших соседей — журналист Наум Айзман, который позже стал моим наставником по работе, не однажды искренне возмущался и недоумевал, как папа может играть во дворе в домино со столь разношерстной компанией. Не мог понять мэтр краевой журналистики, что Ефим Звенигородский никогда не делал различий между людьми, всех уважал и к каждому относился как к равному. А игра в домино давала ему разрядку от работы, и, видимо, позволяла расслабиться.

Ну а если просили помочь в чем-то, не считал зазорным, засучив рукава, или надев пиджачок похуже, взять в руки пилу или топор, чтобы помочь соседу заготовить дрова. Вместе со всеми убирал мусор во дворе в дни субботников, сажал деревья. Березка, которая росла напротив нашего балкона была посажена мной вместе с ним. Не знаю, есть ли она сейчас во дворе, но росла она довольно долго.

Очень жалею, что не досталось мне с генами хотя бы немного папиного юмора. Он умел и любил шутить, его короткие замечания по поводу некоторых людей и их поступков были настолько точны и едки, что я, будучи уже вполне взрослым человеком, старался их запомнить.

Он очень любил всех своих близких, когда мог, старался помочь им. В принципе бескомпромиссный человек, он мог пойти на любой компромисс, когда дело касалось кого-то из родных.

Имея довольно весомую должность в иерархии Биробиджанского исполкома, он мог стучаться в любую инстанцию, чтобы помочь близким, а порой и не очень близким людям. Но у него всегда было свое понимание долга и свои моральные принципы, от которых он не отступал на протяжении всей своей жизни.

Горячо любил своего отца, моего деда Давида. Как я сейчас понимаю, дед для него был не только отцом, но и другом, и советчиком, которому папа во всем доверял. Так к деду, я уже писал об этом, относились практически все многочисленные родственники. Я вспоминаю многолюдные застолья в дедушкином доме, когда он был центром всей компании, беспрестанно шутил и рассказывал анекдоты.

Смерть деда он воспринял очень тяжело. Говорил, что после ухода отца он перестал бояться смерти. И это — фронтовик, видевший смерти не раз на дорогах войны!

Его нежная любовь к своей маме, к нашей бабушке Еве пролегла светлой нитью через всю его жизнь. Он часто бывал у нее, а были периоды, когда приходил ежедневно на обед, поскольку исполком, где он работал, находился в пяти минутах ходьбы от бабушкиной квартиры на третьем этаже на улице Шолом-Алейхема. Знаю, что помогал ей материально, иногда приносил продукты из пайка, которые получали в то время партийные и, как говорили в то время, «советские» работники. Он всегда находил общие темы для разговора.

Потом, когда у папиной сестры Доры умер муж — дядя Саша Мельников — она забрала бабушку Еву к себе. Сначала они жили на Сопке, в квартире, которую дядя Саша получил от военного строительного управления (тогда это именовалось УНРом, что означало «управление начальника работ»), а потом папа помог им получить двухкомнатную квартиру в единственной в то время девятиэтажке в центре Биробиджана.

Особо теплые отношения у него были с сестрой Дорой. Ее он просто обожал. Когда случилось так, что Дора осталась одна с маленьким ребенком, как мог, помогал ей, а когда она вышла замуж за дядю Сашу, ревновал ее к мужу.

Однажды, во время какого-то праздника, семья в полном составе собралась у деда Давида и бабушки Евы. Отобедав и выпив изрядно, дядя Саша по какому-то поводу позволил себе сказать что-то обидное про тетю Дору. И выражения особо не выбирал.

Папа тогда, тоже уже не совсем трезвый, строго сказал: «Ты обидел мою сестру, попроси у нее прощения!».

«Еще чего! - откликнулся дядя Саша. - Она знает, что заслужила!»

Слово за слово, и вот уже, выскочив из-за стола, они, сжав кулаки, стоят друг против друга у входной двери на виду у всей родни, сидящей за столом. Тетя Дора пытается предотвратить драку, но оба в запале просто отталкивают ее. Тогда вмешивается дед. Он становится между мужчинами, и требует разойтись. Они подчиняются. Авторитет деда непоколебим. Но застолье как-то сразу после этого заканчивается, и все расходятся.

По дороге домой папа, еще находясь в запале, все время восклицает: «Нет, я ему не позволю оскорблять мою сестру! Эх, с какой бы радостью я бы врезал ему за Дору!».

Но мы с мамой знаем, что он отходчив. И уже при подходе к дому он веселеет и снова, как обычно шутит что-то по моему поводу. Я радуюсь, что гроза прошла и весело смеюсь...

Если уж говорить об отношениях к родным, то надо отдельно рассказать о его любви к жене. Прожив жизнь, я могу сказать однозначно: такие отношения встречал не часто. Нет, они не были какими-то особенными. Я бы сказал, что они были настоящими. Наверное, это слово наиболее точно определяет их любовь друг к другу.



Это совсем не значит, что они никогда не ссорились. Еще как ссорились, особенно в молодости! Помню скандалы, во время которых были и крики, и ругань. А потом, после примирения, нежные объятия и поцелуи.

Как и у всех, соединивших свои судьбы в одну, каждый нес привычки и уклад своей семьи, и пока не выработался общий взгляд на жизнь, конфликты были совсем нешуточные. Но никогда они не были фатальными, а с годами вообще практически сошли на нет.

Я вспоминаю, как тяжело переживал папа, когда мама по вине медиков и несовершенству технологий, потеряла правый глаз. Им было тогда по 49 лет. У нее произошло отслоение сетчатки.

Тогдашние биробиджанские и хабаровские «светила» вынесли вердикт - глаз надо удалять! А в то время только-только начали проводить операции по прижиганию сетчатки лазером. Говорили, что такие операции проводили в Одессе. Но положительного результата никто не гарантировал. А тут вдруг стало известно, что подобный лазер привезли во Владивосток.

В общем, во Владивостоке операцию сделали. И даже сказали, что удачно. Почти месяц папа просидел рядом с мамой в палате на стуле, стараясь предупредить все ее желания. И когда дело подошло к выписке, он по рабочим делам уехал в Биробиджан. Выписку назначили на 11 ноября.

Я в то время во Владивостоке заканчивал службу на флоте и должен был демобилизоваться. Поскольку все было хорошо, мы договорились, что в день выписки я приеду за мамой и мы вместе поедem домой.

Забрав свой нехитрый флотский скарб в «дембельский» чемоданчик, я приехал в больницу. Мама была в трауре. У нее снова отслоилась сетчатка. Папа уже был в пути. Он приехал по ее телефонному звонку, и снова проводил у ее постели сутки напролет. Недели через две они вернулись в Биробиджан.

Глаз был потерян навсегда. То ли лазер был еще толком не настроен, то ли специалисты не умели им пользоваться, то ли случай оказался неоперабельным. Как бы то ни было, мама стала осваивать жизнь с одним глазом. И сумела не только полноценно жить, но и продолжала работать до 79 лет.

Не потерять силу духа помог ей, конечно, отец. Он готов был на любую жертву во имя здоровья и счастья своих близких.

Все, кто был знаком с его почерком, поражались филигранностью выведенных букв. Они были округлы, с выходящими за строку загогулинами, которые придавали тексту ту особую красоту, которая выдает в человеке, имеющем такой почерк, чрезмерную аккуратность и основательность. Эти черты в нем были всегда и во всем.

Чем бы он ни занимался - чистил ли раковину или кран в дни уборки квартиры, гладил ли костюм воскресным вечером, готовясь к рабочей неделе, писал ли годовой или квартальный отчет, раздавал ли карты в настольной игре — делал он это сосредоточенно и красиво. И всегда очень и очень тщательно. Именно вот эта тщательность была одной из важных его черт.

Уже после его смерти я разбираю бытовые и ремонтные «зачки», которые он собирал, где придется, потому часто в магазинах купить какую-то мелочь — гвоздь, шуруп, полотно для пилки по металлу, другой ходовой инструмент - было невозможно — их просто не было. Гвоздики и шурупы лежали по размерам в специальных ящичках и баночках в полном порядке, а инструменты — в специальных ящиках и «бардачках».

При некоторой своей нескладности он мог спокойно разобрать и отремонтировать утюг или электрическую плитку. Часто рядом с ним и я смотрел, как он ловко орудует отверткой и молоком. Он учил меня правильно держать ножовку и топор, чтобы не пораниться.

Так что мое умение разбираться в механизмах и ремонтировать бытовую технику - от него. Я «дошел» до того, что вполне мог отремонтировать наручные и настенные часы, даже с кукушкой, телевизор или еще какую-то появляющуюся технику.

Когда он был увлечен какой-то работой или каким-то действием, он как-то по-особому сжимал губы и незаметно для самого себя начинал дышать таким образом, что при вдохе чуть присвистывал.

Этот специфический звук я запомнил на всю жизнь. И понимал, что если папа на футболе, а болел он за команду «Строитель» рьяно, присвистывает на вдохе, то лучше к нему с вопросами не обращаться, он так увлечен игрой, что любой мой вопрос будет его только раздражать.

Он был не особенно образован, но обладал очень цепким и острым умом и интуицией, которые в повседневной жизни скрадывали отсутствие знаний. Несмотря на свою чрезвычайную вспыльчивость, никогда не делал поспешных выводов, а о том, в чем не разбирался или не принимал в силу различных причин, вообще предпочитал помалкивать. Как-то так случилось, что когда я был уже взрослым, мы с ним вдвоем попали на концерт восходящей тогда «звезды» Валерия Леонтьева.

Певец в своей манере, как заводной, носился по сцене, пел, ставшие потом уже «фирменными» композиции, демонстрировал свои умопомрачительные костюмы, которые, по словам конферансье, Валерий придумал и пошил сам. После концерта папа иронично сказал: «Не знаю, как с точки зрения портновского искусства, но певец честно отработал свою зарплату!»

Высших учебных заведений он не заканчивал. Но несколько раз ездил в Ленинград (нынешний Санкт-Петербург) на четырехмесячные курсы повышения квалификации. Пытливый ум и невероятная усидчивость, а также любовь к своей работе делали его незаменимым специалистом на своем месте.

Дело он свое знал в совершенстве и с его мнением работавшие рядом с ним люди считались всегда. Его советами пользовались практически все руководители города, сменявшие друг друга на посту председателя горисполкома. Он не умел красиво говорить, но зато был искренним, и я бы сказал, бесхитростным человеком.

Те, кто с ним сталкивался в жизни, работал ли вместе, жил ли рядом, отдыхал ли, отмечали его необыкновенную доброту. Он старался сделать так, чтобы бывшие с ним рядом люди чувствовали себя комфортно.

Еще из черт характера я бы отметил его необыкновенную вспыльчивость и столь же необыкновенную отходчивость. Он вспыхивал, как спичка, но так же, как спичка, затухал. И снова становился добродушным и понимающим человеком.

Кстати, мне, как старшему сыну, не очень послушному и росшему в свободной среде мальчишек железнодорожного поселка, доставалось из-за его вспыльчивости не раз и не два. Но почему-то до сих пор нет у меня на него обиды, даже за те случаи, когда он, не разобравшись в ситуации, наказывал меня, то ли хлопнув ладонью по попе, то ли поставив в угол.

Ну а когда он понял, что «угол» уже для меня не наказание, а так — отбывание «номера», в угол ставить перестал и чаще стал вести со мной разговоры о том, что врать не хорошо, что есть какие-то правила в обществе и школе, которые надо соблюдать.

Из этих разговоров помню только некоторые. Это взрослым (в том числе и мне, когда я сам стал родителем) кажется, что каждое их слово для ребенка — откровение. А на самом деле запоминаются только те моменты, которые совпадают с внутренним состоянием ребенка.

Так, я помню его обстоятельный разговор со мной, что бывают неправыми и взрослые, и разговор о том, что в жизни бывают вещи несправедливые. И относиться к этому надо спокойно и понимать, что иной раз в жизни бывают такие обстоятельства, когда «плетью обуха не перешибешь».

Думаю, что на особое место стоит поставить его отношение к приобщению меня к спиртному. Он считал своим долгом взять это дело под свой контроль. Наверное, боялся, что я стану пьяницей. А, может, по каким-то другим причинам. Кто теперь мне это скажет?!

Как бы то ни было, он сам в день моего четырнадцатилетия налил мне первую в моей жизни рюмку коньяка. Нарезал лимон. И мы вместе с ним выпили этот коньяк. Потом повторили еще. Этого было достаточно, чтобы я понял, что я стал настолько взрослым, что могу с отцом выпить наравне. (В скобках добавлю, что сладкую наливку нам дед Давид наливал еще в шестилетнем возрасте, а вкус тогдашнего вина, в основном крепленного, а другого в то время в Биробиджане не было, мы хорошо знали, и на всяких сабантуях со сверстниками из рюмочек пили).

Точно также в день шестнадцатилетия налил он мне водки и научил, что когда я иду куда-то и мне предстоит выпить, то перед выходом из дома надо съесть кусочек масла, чтобы сразу не захмелеть.

Поскольку в семье мне не запрещали выпить за общим столом, когда отмечалась какая-то семейная дата, то этот «плод» никогда не был запретным.

Помню, что лет в 13 на Первое мая, когда я, посидев за столом с родителями и выпив две рюмки какого-то портвейна, спустился во двор и встретился с друзьями-одноклассниками Мишей Браверманом и Женей Бернштейном, они заговорщицки потащили меня в сарай мишкиной семьи, в котором из под пыльного верстака достали «гусака» - бутылку какого-то крепленного вина в бутылке 0.8. Откупорив с трудом бутылку стали пить поочередно прикладываясь к горлышку.

Я как бы сразу отстранился, понимая, что в покупке бутылки я не участвовал. Но и мне предложили выпить. Я отказался. Мне показалось диким пить вино из бутылки в пыльном и грязном сарае, прикрыв дверь, чтобы никто не увидел. Я понимал, что могу в любой момент вернуться к застолью в своей квартире, которое еще не закончилось и попросить отца налить мне еще рюмку более благородного напитка нежели тот, который пили мои одноклассники. О чем я им и сказал.

Ну вот видишь, - философски заметил Мишка Браверман, - ты можешь дома выпить, а нам не разрешают. Вот и приходится нам вот так! Через полчаса парней, что называется, развезло. Мишка был просто в доску пьян. Я предложил ему немного поспать, а то, если он придет в таком виде домой, ему достанется от родителей. Но куда там! Он храбрился и нес всякую ахинею, которую обычно несут подвыпившие люди...

Чувство, которое я тогда испытал, я пронес через всю жизнь. Почему-то никогда мне не было приятно выпивать в «антисанитарных условиях», хотя в командировках порой и приходилось.

И считаю до сих пор, что именно папа, сам не бог весть какой грамотный в науке потребления спиртных напитков и засыпавший после нескольких рюмок водки, сумел привить мне отношение к тому, что сегодня именуют высоким слогом «культурой питания».

Когда я стал подрастать и у меня появились увлечения, он всегда старался быть в курсе моих внешкольных дел. К примеру, как только я начал посещать фото-кружок, мне купили фотоаппарат «Смена-3». И хотя сам фотоаппарат был простой, как говорится, «для детей», это была новинка тогдашней техники. Был куплен и фотоувеличитель, и кюветы для проявителя и закрепителя, и красный фонарь, и прочие атрибуты.

Ну а когда я подрос и стал заниматься фотоделом серьезно, я получил дорогую и в то время очень серьезную зеркальную фотокамеру «Зенит-Е» с хорошим объективом. Родители мне никогда не отказывали в деньгах на расходные материалы — фотопленку, фотобумагу, химикаты.

Пишу обо всем этом и думаю, как изменился мир за эти годы. Сегодня ничего этого не надо. Фотокамера — в телефоне, да еще и такого качества, что мы — тогдашние — и мечтать не могли. Да еще и в цвете! И тебе ни проявителя, ни закрепителя, ни фотоувеличителя, ни глянцевателя не надо. И качественный фотоаппарат самой лучшей фирмы тоже сегодня не редкость.

Точно также поддерживалась моя страсть к книгам. Я никогда не получал отказа, когда просил очередные два-три рубля на приобретение книг. Многие книги, купленные в школьные годы в биробиджанском Когизе — так тогда назывался небольшой центральный книжный магазин на улице Ленина в здании, где находились редакции газет «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн», до сих пор со мной.

Более того, когда я уже женился, папа подарил мне полную подписку на «Библиотеку всемирной литературы». Правда, когда я стал работать и получать зарплату, последние тома покупал за свои деньги. Значительная часть этих книг сопровождает меня всю жизнь.

Так что для него наши детские увлечения были серьезны, и он старался помогать нам, как умел...

Закончив техникум, он работал сначала в областном финансовом отделе, а потом его выдвинули в заведующие Биробиджанского городского финотдела, где он трудился до самого выхода на пенсию.

Я, наверное, не имею права говорить, каким он был на работе, потому что всегда — и в пять лет, и в пятнадцать, и в двадцать пять, и в сорок пять, бывая на его рабочем месте, я оставался его сыном. Я не однажды заходил к нему на работу, а горисполкомом переезжал с одного места на другое не раз.

Помню деревянное здание на улице Шолом-Алейхема, оно находилось почти напротив входа на рынок. Его кабинет был на первом этаже. Я тогда уже учился в первой школе и домой ходил мимо этого здания - мы еще жили на железнодорожном поселке — и в теплое время года никогда не проходил мимо открытого окна.

Я сначала подкрадывался со стороны, чтобы меня в окно не было видно, потихоньку прислушивался, нет ли у него в кабинете людей, и, убедившись, что он один, подходил к окну, которое было на уровне моей груди, и окликал его.

Помню его кабинет в другом деревянном, в самом начале улицы Ленина, здании, где потом долгое время была детская музыкальная школа. Там кабинет тоже был на первом этаже, но окно было значительно выше, и проходил я мимо него совсем редко, разве что когда по пути заглядывал к бабушке Еве, которая жила неподалеку. Да и почему-то открывалось окно этого кабинета только иногда.

Ну и последний кабинет - в нынешней мэрии — на когда-то главной площади города, здание под которую отдал горисполкому переехавший на новую площадь Ленина Облисполком или по современному — правительство области. Кабинет был на втором этаже. Я там был всего несколько раз, потому что уже работал собственным корреспондентом Хабаровского телевидения и радио и все время ездил в командировки.

Его аккуратность и педантичность чувствовалась во всем — каждая вещь в кабинете и на столе имела свое место, всегда лежала ровно и удобно для пользования. Помню небольшую статуэтку сидящего на пеньке Ленина на его столе, подаренную ему кем-то по какому-то случаю.

Еще было чудо тогдашней техники — механический прибор «Феликс», который позволял умножать и складывать достаточно большие суммы. Маленьким я очень любил крутить его ручку (сколько раз повернешь, во столько раз и сумма вырастет), и поражался, как быстро получается результат. Это сейчас, когда калькулятор есть в каждом телефоне, понимаешь, что ничего удивительного в том приборе вовсе не было, а тогда он казался вершиной техники: не надо было складывать, умножать или делить цифры в столбик на бумаге...

Так хотелось, чтобы на уроках арифметики был такой аппарат. Но понимал, что даже если бы и был, тот пользоваться им было бы сложно. Мало того, что он был громоздкий и занимал бы пол-парты, он был еще и очень шумным, и каждый поворот ручки сопровождался металлическим грохотом.

Лишнего никогда на столе у папы ничего не было, и мне, когда я стал постарше и уже работал, казалась удивительной эта его черта характера. Мне в первые годы работы так не удавалось.

Но со временем, видимо, гены сработали. И я стал за собой замечать, что и у меня ничего особо лишнего на столе нет, а когда накапливались бумаги, которые неизбежно должны были накапливаться, я их периодически просматривал, сортировал и большую часть выбрасывал. Остальное помещалось в папки в шкафу, и потом тоже выбрасывалось, поскольку, как правило, оказывалось никому не нужным. Такова, видать, бюрократическая особенность «бумагооборота» - было в советские времена такое словоопределение.

Он «пережил» не одного, и не двух председателей горисполкома. Не со всеми ладил. Иной раз приходил очень расстроенным. Тепло относился к заведующему областным финотделом Якову Семеновичу Брегелю, с которым начинал свой трудовой путь и который, как я подозреваю, немало сделал, чтобы научить молодого фронтовика премудростям финансовой деятельности. Потом, когда Брегель уехал в Москву, куда его перевели по работе, папа с ним иногда встречался, а когда тот приезжал на Дальний Восток, обязательно заходил к нам в гости. Принимали его родители всегда по высшему классу.

Рассказывая о произошедшем за день, а такая традиция была в семье всегда, папа называл в разговоре с мамой своих исполкомовских начальников «балабусами». На идише слово это означает «хозяин». Помню, что чаще других звучало имя Мирона Ивановича Гончарука.

В последние годы он работал с Алексеем Алексеевичем Унтевским, к которому относился с большим уважением. Я в то время был уже взрослым человеком, с Унтевским был лично знаком по работе, и чувствовал, что это уважение было обоюдным.

Когда он шел по городу — здоровались с ним почти все идущие навстречу люди, и с каждым он останавливался, чтобы поговорить, расспросить, как дела. Почему-то он знал про всех встречных какие-то особенные «мелочи», о которых они не отказывались поговорить с ним. Кому-то передавал привет, у кого-то спрашивал о детях и внуках... Иной раз, не успевая завершить разговор с одним, начинал другой с новым встречным. Поэтому он порой тратил на дорогу до работы по сорок-пятьдесят минут, хотя пройти ее можно было от силы минут за пятнадцать.

Он был добрым человеком. Это отмечали многие, кто его знал. Он умел улаживать конфликты и уживался практически со всеми. Но были у него и конфликты на работе.

Не буду называть фамилии, потому что она никому ничего не скажет, но была в коллективе горфинотдела одна женщина, которая «попортила» отцу немало крови. Было это уже на излете его многолетней работы в должности. Писала во все инстанции и пыталась очернить, приписывая ему нарушения законов. Видимо, ее целью было занять должность «засидевшегося» начальника. А его никто не хотел увольнять, потому что был он надежен, и честен, и знал свое дело.

Проверки назначались одна за другой, нервотрепка продолжалась месяцами... Комиссии приходили, проверяли, доказывали, что в работе нет нарушений, но через какое-то время появлялся новый навет и снова приходила проверка...

Я в то время уже работал, и когда он однажды поделился со мной, рассказав ситуацию, я его спросил: «Но ведь ты же можешь ее уволить, тем более, что сам говоришь, что она тобой была поймана на неблагоприятных вещах, которые потом ставила тебе в вину?»

«Могу, конечно, - сказал он. - Но ведь тогда все будут думать, что я ей мщу. Не хочу опускаться до ее уровня. Это низко!»

Это слово - «низко» - и было в его жизни критерием честности и порядочности, которые он никогда не переступал.

Конечно же были люди, которые считали, что, занимая такую должность и имея такие возможности, человек не может уйти от соблазна и обязательно преступит закон. Деньги — вот они, рядом! Кроме того, от его решений зависела деятельность многих руководителей крупных и мелких предприятий города и наверняка были попытки дать взятку, чтобы он помог провести «правильное» решение.

Да, такие были. Но я уверен на все 120 процентов, что ни одной неположенной копейки он не положил в свой карман, ни разу не воспользовался своим служебным положением. Жили они с мамой довольно скромно, хоть и оба работали на руководящих должностях.

Он был членом единственной тогда Коммунистической партии, в которую вступил во время войны. Как тогда было принято, перед боем написал короткое заявление: «Если из боя не вернусь, прошу считать меня коммунистом».

Он верой и правдой служил партии всю свою жизнь. Но фанатиком не был, а относился к тогдашним руководителям высшего звена с иронией. Помню, что во время какого-то выступления тогдашнего Первого секретаря КПСС Никиты Хрущева на каком-то съезде партии, которое транслировали по радио часами, он с усмешкой заметил: «Ну наш Никита Сергеич не может коротко говорить — четвертый час выступает!».

Как и следовало по тогдашней иерархии, в связи со своей финансовой должностью, он многие годы возглавлял Ревизионную комиссию при горкоме КПСС, номинальной задачей которой было следить за расходованием денег аппаратом горкома партии. Все это было чистой формальностью, как и доклады его на партийных пленумах и конференциях, где он говорил о работе комиссии, расходовании средств и результатах проверок.

Но к докладам, как и ко всему, что делал, он относился с особой серьезностью и тщательностью. Он сидел и корпел над каждым докладом, не желая повторять того, что было сказано в прошлом отчете, хотя чаще всего там можно было бы просто поменять цифры, а весь доклад просто повторить. Кто бы вспомнил, что те же самые слова он говорил два года назад, на предыдущей конференции.

Но каждый доклад он писал заново сам. Как и ежегодные доклады на сессии городского совета депутатов, где утверждали исполнение бюджета за минувший год и бюджет на новый. Он считал себя не очень грамотным человеком, и потому каждый доклад он давал на просмотр маме, которая в его представлении была большим авторитетом и могла что-то подсказать. Она действительно подсказывала что-то. И это было частью крепости их союза, в который я предпочитал не вмешиваться, хотя, как я понимаю, мог бы подсказать отцу гораздо лучше мамы-врача.

По роду его деятельности он постоянно избирался депутатом городского Совета. Почему по роду деятельности? Да потому, что кроме депутатов рабочих, которых в то время было определенное обязательное количество, депутатов интеллигентов, которые тоже избирались, как тогда говорили, по разнарядке сверху, обязательно должны были состоять депутатами и члены исполкома. Папа, в соответствии со своей должностью - заведующего

финансовым отделом — был постоянным членом исполкома городского Совета депутатов. Его депутатский округ находился на Втором Биробиджане.

Но я не о том, что он занимал какую-то должность, а о том, как он относился к своим депутатским обязанностям. Пока я был мал, меня вообще не интересовала эта сфера его деятельности, поскольку я не очень понимал суть депутатской работы в социалистической стране. Со временем я стал интересоваться и этим. Оказалось, что папа, как и все депутаты, должен был отчитываться перед избирателями о том, как он выполняет их указы, которые давались в ходе предвыборных собраний в трудовых, как тогда говорили, коллективах и на жилмассивах.

Понятно, что указы в основном согласовывались заранее. Ну откуда мог депутат взять средства для строительства, например, школы или детского сада? Деньги все были только государственные, и потому список наказов определялся свыше. Но были и другие указы, которых предвидеть чиновники никак не могли. Пенсионеры из поселка, состоявшего в основном из домов частного сектора, часто просили поправить дорогу (прокладка асфальта требовала немалых денег и потому входила в число согласованных наказов), отремонтировать крышу дома или забор. Бывали указы и посерьезней — добиться для участника войны новой благоустроенной квартиры.

Понятно, что все это было в основном формально. Но, как известно, все зависит от человека. А человек — Ефим Звенигородский — был честным, добросовестным и, что еще важнее, совестливым. Уже когда я стал взрослым и работал на Хабаровском радио, у меня была служебная машина. И он часто просил меня дать машину на пару часов, чтобы поехать на Второй Биробиджан по депутатским делам. В горфинотделе своего автомобиля не было, а в гараже исполкома просить авто для исполнения депутатских обязанностей он не хотел.

Он по своей инициативе обращался к руководителям предприятий и просил рабочих, чтобы помочь отремонтировать кому-то крышу или забор. А иной раз договаривался с кем-то из руководителей, чтобы бесплатно вскопали огород пенсионерке-вдове участника войны.

Несколько раз в год он отчитывался перед избирателями о выполнении этих наказов. «А как же, - говорил он мне полшутя. - Если я не выполню указы, то в следующий раз они меня не изберут, а значит, мне придется уходить с работы!».

Мы оба понимали, что это шутка. А я еще и понимал, что так он старался скрыть, принизить это свое особое серьезное отношение к депутатской работе.

В последние годы работы у него сильно дрожали руки. Он не раз обращался к врачам, выписывали таблетки, кололи какие-то уколы, на какое-то время наступало улучшение, а потом все начиналось снова.

Видимо, сказывалась контузия, которую он получил на фронте. Тогда он потерял слух и ориентацию в пространстве. Ориентация вернулась быстро, а вот возвращения слуха пришлось ждать более двух месяцев. Но потом все восстановилось и жизнь он прожил, хотя иногда и болея, но все-таки бодрым и веселым человеком.

Так вот, стесняясь дрожания рук, он подписывал документы, когда в кабинете никого не было, долго принаравливаясь и успокаивая себя. Понимал, что так долго продолжаться не может. А тут еще всяческие хворобы навалились: то в глазах появились какие-то



невыводимые бактерии, то «простреливало» поясницу так, что почти три недели лежал без движения, то сердце прихватывало.

К тому времени мы с Галей переехали из Биробиджана в Хабаровск и, поскольку оба его сына - я и Борис — жили в краевом центре (Еврейская автономная область тогда входила в состав Хабаровского края), он решил, что пришла пора уходить на пенсию.

Одной из серьезных причин стала его последняя поездка на курсы повышения квалификации в Ленинград.

Этот город, как и Баку, в котором выросла и училась мама, стал для нас с братом Борисом каким-то особым. После первой поездки на курсы в 1957 году, папа приехал воодушевленным и каким-то изменившимся. Он много рассказывал нам о легендарном городе, открытки и виды Ленинграда многие вечера были нитью его повествования о неведомом нам мире.

Поездки в столицу в те времена были редкими. Мало кто ездил туда, а съездить в Москву или Питер в командировку считалось большой удачей.

Почему-то помню, как он приехал с курсов. Тогда на самолетах так далеко еще не летали, и он должен был приехать поездом. Мне было всего 9 лет. И, ожидая поезд, я весь измаялся, избегал весь вокзал - так соскучился по папе. И когда, наконец, увидел его, спускающегося по ступенькам вагона, я вырвал руку из маминой руки и бросился к папе. Чувства, переполнявшие меня были настолько сильны, что я помню свой произвольный возглас, в котором было одновременно столько тоски и радости. «Папа! Папа!», - пела душа и сердце...

А вот в последний раз на курсы он съездил неудачно. Сердце начало болеть еще в самолете. При посадке в Новосибирске (ИЛ-86 садился в Сибири, чтобы провести заправку) ему было настолько плохо, что бортпроводники вывели его из самолета, постелили на траву какую-то подстилку и уложили. Он рассказывал, что лежа на летном поле, он смотрел на солнце и потихоньку прощался с жизнью.

Но прощался рано. Конечно, ни на какие курсы он не попал, а пролежал все два месяца в больнице, где его основательно подлечили ленинградские кардиологи.

Нам он ничего не сообщал. Когда изредка звонил, заказывая разговор с больничного телефона, бодро рапортовал, где и когда побывал, какие достопримечательности посетил. Благо, Ленинград он знал хорошо, и описывал все так живо, что по крайней мере я ничего не заподозрил. Узнал обо всей этой истории уже после его возвращения.

Как бы там ни было, уйдя на пенсию, переехали они в Хабаровск. Мама сразу устроилась в ближайшую поликлинику на работу. Была она врачом в институте культуры и в детском кабинете соседней поликлиники.

Папа же не сразу нашел себе применение. Несколько раз ходил в крайфинотдел, в подчинении которого он проработал много лет, и где знал многих сотрудников. Через некоторое время его пристроили архивариусом.

Архив находился не в том здании, где сейчас находится министерство финансов Хабаровского края, тогда финансовое управление Хабаровского крайисполкома, а в соседнем жилом доме в подвале. Там был оборудован небольшой кабинет и помещения

под документы. Он однажды организовал мне экскурсию по своим владениям, и я хорошо представляю, как там все выглядело, и чем он тогда занимался.

По своему обыкновению, он навел на полках и в помещениях идеальный порядок, сделал «организатор» и путеводитель по полкам. Но подвал, это все-таки подвал. Сидеть там один он не любил. Второе и основное его рабочее место было в одном из кабинетов хозяйственного отдела финансового управления, где можно было пообщаться с людьми.

Но проработал он там недолго. Сначала случайный перелом ноги, потом неправильно сросшиеся кости, которые потом снова вынуждены были ломать и снова сращивать. Десятки рентгеновских снимков... а потом, как всегда неожиданно, обнаружился рак в неоперабельной степени. Это было началом ухода.

Конец 80-х и начало 90-х годов XX века были бурными. Политическая жизнь перевернула все представления предыдущих десятилетий. Отец, который, мне так казалось, был, как говорили, «твердым ленинцем», внимательно следил за всеми событиями конца восьмидесятых-начала девяностых годов. И, как всегда, многие самые сложные события того времени, укладывал в несколько колких и едких слов.

Однажды я его спросил, как он относится к «перестройке», к развенчанию всего, что натворила в стране коммунистическая партия.

Он спокойно посмотрел на меня и сказал: «Я вступал в партию во время войны. Был в ней всю свою жизнь. Верил тому, что мне говорили беззаветно. Был искренним во всех своих поступках. Могу только покаяться перед самим собой, что был настолько слеп. Если бы я понимал хотя бы сотую часть из того, что сегодня знаю, я бы вышел из партии уже давно. Не могу отделаться от чувства, что меня в моей жизни очень сильно обманули. Единственное, что могу сказать в свое оправдание — я никогда не шел против своей совести».

Он до последнего своего дыхания оставался советским человеком, но все происходящие перемены принял и понял. И не раз сокрушался, что он — фронтовик, человек умудренный жизненным опытом не сумел увидеть того, что стало известно только с «перестройкой».

Понятно, что, как у каждого человека, были и свои слабости и свои пристрастия. Например, в спорте он всегда болел за «Спартак», потому что сам когда-то в молодости играл в команде под таким же названием. Очень любил мороженое. В нашем детстве был такой ритуал: всей своей семьей иногда по воскресеньям ходить в в павильон, где подавали мороженое, и заказывать разного вида разноцветные шарики, которые подавали в металлических вазочках. Павильон стоял на том самом месте, где сейчас поставлена стела в память о погибших в Великой Отечественной войне. Примерно там, где сегодня иногда зажигают по праздникам «Вечный огонь».

Это помнят многие биробиджанцы: мороженое надо было заказывать официанткам, которые имели, как сейчас говорят, свой дресс-код — белые передники и невысокие и также белоснежные кокошники на голове. Потом было ожидание.

Когда выполнение заказа задерживалось, папа нервничал и ходил спрашивать, когда принесут нам мороженое. Чаще всего оказывалось, что мороженое закончилось и сейчас его принесут из ресторана «Восток», который находился через дорогу, где его готовили в больших металлических тубах, из которых его черпали круглыми ложками, чтобы

получились шарики. Мороженое было разное — молочное, пломбир, абрикосовое, шоколадное, папа брал себе 150 граммов, а нам — детям и маме — по 100.

Любовь его к мороженому сохранилась на всю жизнь. Когда в Биробиджане «разучились» делать этот деликатес, он, приезжая в командировку в Хабаровск, сразу прямо на вокзале покупал себе порцию мороженого. Мне, уже тогда взрослому человеку казалось странным, что мой пожилой папа так любит этот детский деликатес.

А еще он очень любил рыбу. Не ловить — есть! Он готов был есть рыбу по три раза в день и в любом виде. Я видел, как он загорался, когда видел на столе блюда из рыбы.

Эта его любовь к рыбе особенно проявилась в дни тяжелой болезни, из которой он так и не выбрался. Когда он практически почти ничего уже не ел, от кусочка рыбы он не отказывался...

Еще один эпизод из последних месяцев его жизни. Вся его история с неизлечимой болячкой и уходом началась с того момента, когда в туалете, погнавшись за тараканом, чтобы его немедленно уничтожить, он упал с табурета и сломал ногу. Мама позвонила мне и Борису. Мы срочно приехали, на руках вынесли папу на руках и отвезли в Хабаровскую железнодорожную больницу, где в то время, благодаря нашему двоюродному брату Леве Полищуку, он не раз лечился. Его положили в палату, сделали рентген и наложили гипс.

Когда кости уже практически срослись, новый рентген показал, что срослись неправильно. Он разрешил снова ее ломать. Помню, что медперсонал удивлялся его стойкости, умению шутить в самый сложный момент. Получалось, что не они поддерживали его, а он успокаивал их. Теперь, чтобы история не повторилась, стали делать на каждом этапе новый рентгеновский снимок, и таких сеансов за короткий период он прошел более десятка.

Потом он почти год ходил с палочкой. «Ты знаешь, - говорил он мне, - я и не подозревал никогда, что городе так много людей ходит с палками. Просто не обращал никогда на это внимания. А оказывается нас «палочников» в Хабаровске немало!».

Но многочисленные сеансы рентгена сказались на здоровье. По крайней мере, так говорили тогдашние хабаровские медицинские «светила»...

Рак прогрессировал, как это бывает, когда его уже невозможно остановить ничем.

Уходил он тяжело и долго. Хотя, как считать?! В начале ноября 1993 года после посещения хирурга нам сказали, что дают ему 4 месяца. Он прожил до 23 марта 1994-го, полгода. Правда, последний месяц был совсем тяжелым. Сначала, когда он уже не мог вставать с постели, мы с братом Борисом ночевали у мамы через день, а уж когда дело совсем подошло к развязке, приходили каждый вечер оба.

Для него время летело стремительно. Утром, уходя на работу, я видел одного человека, а вечером — совсем другого. Встречал нас он уже без радости. Но, как я понимаю, был в сознании.

Помню, что утром как-то я его побрил, побрызгал любимым одеколоном. Он уже не разговаривал, но по умиротворенному выражению его лица я понял, что он доволен. Но когда через два дня я проделал ту же самую операцию, он только поморщился, показывая

всем своим видом, что это ему неприятно. Голос у него пропал примерно за два месяца до смерти. Метастазы, расплзаясь по телу, поразили горло. Он еще шепотом спросил у мамы - «У меня инсульт?». Она только и сумела сказать, что нет. Больше он вопросов не задавал.

Однажды он сказал мне, тоже уже шепотом - «Видимо, помирать буду!». Не было в его словах ни сожаления, ни каких-то других чувств. Просто констатация факта. Я попытался возразить: «Не торопись!». «Я и не тороплюсь, только от меня это уже не зависит», - практически по губам прочитал я. Это был последний наш с ним разговор.

Мы видели, как он измучен. Каждое движение давалось ему с таким трудом, что лицо принимало мученическое выражение. А каждое утро надо было его поднять, посадить на стул и держать, чтобы вконец похудевшее тело не свалилось на пол, пока мама перестилает постель. Но он молчал. Я не слышал от него ни одного стога, хотя, как я понимаю, боли были нешуточные.

Почему-то колоть наркотики ему стали только на последней неделе жизни. И даже выписанную норму не прокололи. 23 марта в половине второго ночи мама вышла из спальни, где она мостила на раскладушке рядом с его постелью, и выдохнула: «Все, ребята, вставайте!».

Он ушел из жизни тихо, как мышка, без криков и агонии. Просто исчез в небытие...

На похоронах народу было много. Приезжали родные и знакомые, бывшие сослуживцы из Биробиджана. 25 марта ночью выпал, как часто бывает в эту пору, снег в несколько десятков сантиметров высотой. Могилу засыпали снегом с песком. На поминальном обеде говорили много теплых слов. Мне почему-то запомнились слова моих друзей — Валеры Шевченко и Якова Шермана, которые говорили о том, что наш папа был и для них родным человеком...

Через две недели, 11 апреля проездом в Биробиджан был мой двоюродный брат Толя Кобенков и попросил сразу из аэропорта завезти его «к дяде». Папино последнее пристанище выглядело плачевно. Снег растаял и через могилу текли весенние ручьи. Было тяжело смотреть на это. Все мы расстроились.

И в ближайшую субботу, запасшись ведрами и лопатами, мы приехали поправлять могилу. Вместе с Борисом и Галей мы переносили и утрамбовали почти 90 ведер песка, который привезли на кладбище в преддверии родительского дня. Тогда уже приподняли могилу, отвели подальше ручей, проходивший рядом, и оформили все, как положено. А еще через некоторое время положили плиту.

...Когда глядя в зеркало я вижу с папиной хитринкой глаза, когда я в повадках и привычках своего брата и, как это ни удивительно, в манерах своих сыновей и даже внуков я вижу манеры и повадки папы, я понимаю, что могильной плитой кончилось не все.

На первом фото папа после завершения школы, перед войной, на втором - в Румынии в 1945 году, на третьем папа с нашим старшим сыном Димой.